

Наша деревня была старинной, жили в ней коренные сибиряки, чалдоны. На другом берегу Кондомы – переселенцы из центральных губерний. Прежде так и говорили: «в расейцах» гостем был, или: «в сибиряки» плавал.

...От крутого «расейского» берега звуки далеко катились мячиком по воде. Однажды вечером ко всем прочим звукам «из расеи», к которым «сибиряки» привыкли и не замечали их, – стуку вальков, стрекоту веялок возле амбаров, взлаиванию собак – примешался новый: робкие переборы гармоники. Кто-то на том берегу учился играть. Новичок пилил, пока не стемнело, а потом смолк, утомился.

На следующий вечер всё повторилось. Гармошка басила, словно забавляла, и девчата наши поголосистой стали кричать через реку весёлые вещи. Но «расейский» был упрям и

необидчив и вскоре довольно сносно сыграл какую-то простенькую песенку.

Так и повелось. Наступал вечер, отходили заботы многотрудного сельского дня, и над притихшей рекой раздавались аккорды знакомой гармоники.

Играл гармонист всё без разбора, нажимая больше на русские народные песни, на революционные, часто играл входившие в моду «Спят курганы тёмные» и «Катюшу».

Но потом стали замечать склонность гармониста к лирике. С особенным чувством и загадочной настойчивостью играл он одну мелодию.

«Коль жить да любить – все печали растают, как тают весной снега, – пела гармошка, и голос её при этом был трогательно наивен, словно игравший сам только что разгадал эту истину и спешит поведать её миру. – Звени,

золотая, шуми, золотая, моя золотая тайга». Никто на нашем берегу уже не смеялся над незадачливым гармонистом. Слушая его, мы вдруг с изумлением и непонятной радостью, будто бог знает какое открытие, поняли, что гармонист – влюбился!

Потом гармошка поведала всем, что у парня вышла размолвка: уж слишком явно, недвусмысленно принимались слова старой песни:

**«За окном осенняя распутица,
как безлюдно рано поутру.
Только листик запоздалый кружится,
только птицы зябнут на ветру».**

Даже пожилые, сидя вечером на брёвнушках, грустнели. «Гармонист-то наш – слышите? – опять в тоску попался», – говорили они.

Думал ли «расейский», что его слушает наш берег, не знаю... Может быть, ему это было безразлично. Но мы к нему уже не были безразличны. Его талант и открытая душа, которая с такой простотой и доверчивостью выливалась в песенных импровизациях, подкупали.

Парень помирился со своей любимой. А потом у него состоялась свадьба: гармошка стала спокойней, радость её сдержанней, а грустных мелодий не слышали вовсе. Да и играл гармонист вечерами понемногу. Что ж, все понимали: когда в доме молодая жена, допоздна не погуляешь...

Спустя год у гармониста родился сын. Это случилось в апреле, когда только что прошёл лёд, и Кондома ещё дышала холодом. Гармошка звучала чуть не до рассвета, охрипла; на нашем берегу смеялись: простудил на радостях-то сердешную!

Однако недолгой была радость заречного гармониста: через два месяца грянула отечественная война. В череде замелькавших трагических дней, в проводах мобилизованных мужчин, в слезах женщин, в скупых, холодивших сердца сообщениях Информбюро пролетело лето. Уже под осень, как-то в сумерках, когда обычно возвращались с полей, по нашим сердцам, особенно сердцам женщин и девочек, больно ударил с того берега знакомый голос гармошки. Все вроде бы забыли о ней, а может быть, она это время не играла. Но сейчас, когда вдруг услышали, так обрадовались ей, что многие заплакали.

Гармошка слышалась над рекой ещё несколько вечеров, а потом затихла. Очень долго затихла гармошка.

Прошёл военный год, миновал второй. Деревня наша жила иступлённой работой на полях и ожиданием вестей с фронта. Иногда вспоминали гармониста с того берега, гадали о его судьбе, жив ли он ещё. Похоронки тогда приходили едва ли реже писем...

Он сам напомнил о себе мелодией, внезапно хлынувшей с «расейского» берега.

Теперь мне почему-то кажется: гармонист знал, что его слушают не только односельчане. Играл он и для нас, для нашего притихшего, пустынного берега.

Был разгар войны; гармонист, вероятно, вернулся домой по ранению. Мы радовались, что он жив, и были благодарны ему за щедрость его души. Истосковавшиеся по инструменту руки играли на этот раз с особенной, какой-то трагической проникновенностью.

Неделя через две гармошка снова замолчала. И молчала теперь уже до самого конца войны.

Началась демобилизация. Снова у женщин стали застилаться слезами глаза – у одних от радости встреч с любимыми, сыновьями, у других – от уходящей теперь уж навсегда надежды, что проклятая похоронка, может быть, соврала.

Ожила потихоньку деревня. Девчата снова стали выходить на берег, вспоминали о заречном гармонисте: что-то долго он не возвращается. Прошла вскоре и вторая демобилизация, за ней – третья, вернулись все, кому суждено было вернуться. А гармошка на том берегу молчала... Мало кто из наших знаком был с гармонистом, но невозвращение его все переживали так, будто потеряли близкого...

Жизнь входила в мирную колею. Девчата, помнившие гармониста, выходили замуж, их захлестнули семейные заботы. Подросли дети; горе вдов закаменело временем.

Кондома вечерами была тиха и пустынна... И вдруг – случилось это тоже вечером, в мае, когда северные ветры обивают черемуху и гулко шумят в голых и залитых половодьем топольниках, – наша деревня замерла: с того берега просочились и полились тоненькие, неуверенные, сбивчивые звуки гармоники.

Инструмент был тот же самый, но взявший его в руки был – ну, совсем новичок. Пальцы соскакивали с клавиш, звуки всхлипывали и трепетали.

Женщины оставляли самую неотложную работу, выходили на крылечко, стояли со скорбными лицами. У женщин начинали дрожать спрятанные под фартук руки. Дети затаили, чувствуя по лицам матерей: происходит что-то значительное.

Играл сын гармониста. Правда, ещё играл робко и нечто неопределённое. Однако уже чувствовалось по всему – упрямством он пошёл в отца. И хотелось думать, что будут ещё дни, когда гармошка зазвучит снова уверенно и ладно над примолкшими берегами, с подкупающей откровенностью ведая миру о щедрой душе своего нового хозяина...

(2012 год)